

## ОГЛЯНУТЬСЯ В СЛЕЗАХ

*Божье и человеческое в апокалипсисах Светланы Алексиевич*

- Я Бога не боюсь. Я человека боюсь.  
"Чернобыльская молитва"

## ХОРОШАЯ ЖУРНАЛИСТИКА??

Ни в какие привычные рамки не лезет. С самого начала - ни на что не похоже. Так подкошен жанр, так дерзко обновлено само понятие об авторстве: от повести к повести всесветная слава писательницы растет, меж тем как тексты ее на девяносто девять процентов принадлежат другим людям!

Это - первая загадка.

Один из ее собеседников заявил в сердцах

- Вы записываете только то, что вам выгодно! Выпытываете не то, что надо! О. да. Она записывает именно то, что ей надо. Она выпытывает именно то, от чего другие отшатываются. И это - вторая загадка ее текстов: цель отбора. Сверхзадача. Сама эта душа, взыскующая страшной истины, идущая сквозь человеческие несчастья, вбирающая в себя самое нестерпимое.

И третья загадка - состояние мира, отразившееся в этом пытании, в этом хождении художника по людским мукам.

Собрав после "Чернобыльской молитвы" очередные литературные лавры, Светлана Алексиевич заметила:

- Жанр, в котором я работаю. - это лишь на первый взгляд живые свидетельства и не более того. На самом деле он подразумевает не только стержневое событие, которое должно через огромное количество людей пройти, массовое сознание задеть, он еще держится на философии... Или вы сумеете "зайти" с какой-то определенной стороны... или это будет просто журналистика. Хорошая - но журналистика.

"Хорошая журналистика" наличествовала там с самого начала. Была, однако, еще и интуиция: чутье на ту истину, которую у жизни надо "выпытывать". Вопрос о том, в каком жанре всё это реализуется, поначалу не вставал. Когда пришлось отбиваться от "генеральских" атак по поводу "Цинковых мальчиков" (в непосредственную атаку, впрочем, были брошены матери "афганцев" и сами солдаты, чьи монологи составили повесть), Светлана Алексиевич впервые вынуждена была объяснять то, что авторы обычно не объясняют:

- Документ в искусстве - не справка из военкомата. Книжки, которые я пишу, это особого рода проза. Это документ и в то же время мой образ времени.

Образ времени - это и есть суть. Не отдельно от документа - в нем самом. Надо уметь прочесть. Документ - огромной силы ХУДОЖЕСТВЕННОЕ свидетельство. "Факшн" действует сильнее, чем "фикшн", если употреблять принятую на Западе терминологию. Ибо ни один "факт" не существует сам по себе, а лишь как выявление общей картины; стронутый с места (даже просто тронутый записью), он сдвигает лавину мыслей, чувств, аналогий. В отечественной традиции художественная опора на документ знает такие шедевры, как "Волоколамское шоссе" Александра Бека. Повести Светланы Алексиевич все сплошь построены на документах, на исповедях очевидцев. Они записаны как будто бы только "честным журналистским пером". Но недаром же каждая повесть белорусской писательницы становилась событием и в литературе, и в общественной жизни: сначала - повесть "У войны — не женское лицо", затем "Последние свидетели". "Цинковые мальчики" (те самые, из-за которых автора в суд потащили), "Очарованные смертью" и наконец "Чернобыльская молитва". На этой молитве образ времени как бы распадается, переходя в безобразность вне времени, свыше понимания. Что-то то ли изначальное, то ли открывающееся только при конце.

" - Солдатики, это что - конец света?"

А брезжит - с первой повести. Чувствуется меж слов. Читаешь - дух замирает. Поэтому читаешь - маленькими порциями. С перерывами. Чтобы прийти в себя. Кажется, Светлана Алексиевич и сама прерывает своих собеседниц, вставляет несколько слов, - чтобы перевести дух. Справиться с тем, что ворвалось в сознание. Что-то понятное в этом увидеть, человеческое,

простое, логичное, для чего есть слова.

"...Четыре мучительных года я иду обожженными километрами чужой боли и памяти. Записаны сотни рассказов женщин-фронтовичек: медиков, связисток, саперов, летчиц, снайперов, стрелков, зенитчиц, политработников, кавалеристов, танкистов, десантников, матросов, регулировщиц, шоферов, рядовых полевых банно-прачечных отрядов, поваров, пекарей, собраны свидетельства партизанок и подпольщиц..."

Поначалу она так и компоует записи - по военным специальностям: связистки, саперы, летчицы... Отдельная тема: любовь.

"Все было на войне - смерть, страх, слабость, тяжелая работа... любовь, верность и нежность женщины..."

Нет, не вмещается. Не вмещается в обычные, сердечные слова то немислимое, что воеет, немеет и корчится рядом, на тех же страницах. Все прокомментировано правильно, вовремя. Отдаешь должное Светлане Алексиевич как интервьюеру и писательнице: тут изначально заложена репортерская хватка и быстро наработана стилевая точность. "Хорошая журналистика". Плюс душевность, без которой не реализовалось бы ни то, ни другое. Но это всё - объяснимо, логично. То есть попятно и поддается человеческому пересказу. Читаешь авторские ремарки, сочувствуешь, соглашаешься. А под этим, или поверх этого, или сквозь это - что-то такое встает, перед чем душа цепенеет, логика сламывается, - то самое, что делает Светлану Алексиевич совершенно уникальной фигурой в литературе... сначала можно было сказать: советской, а теперь и не определишь: русской? белорусской? всечеловеческой?

Ибо безумие, которое она пытается вместить, - всечеловеческое, национальных и прочих границ не имеющее.

## **"НАМ НЕКОГДА БЫЛО СОЙТИ € УМА"**

Записывая отчаянные исповеди, она, кажется, озабочена только одним: не помешать. Оставить, как произнесено. Но в видимой хаотичности рассказов перекликаются мотивы, которые не могли бы возникнуть "сами собой": их улавливает чуткая душа и накапливает, накапливает, помогая нам продвигаться в "безвидной мгле" ритмично, даже рифмованно.

Мотивы рифмуются.

Первый немец... первый убитый немец. Одно дело - ненавидеть фашизм, и другое дело - убить вот этого, конкретного парня, который вкатил в село на мотоцикле, отложил автомат и весело моется у колодца. (Оккупанты "первой волны", то есть 1941 года, непрерывно моются... если эту деталь воспринимать мистически, то из нее извлекается многое, чему не сразу подберешь слова.)

Раненый немец. Спасать его или бросить в поле? Лечить или оставить умирать? Они наших не лечат, добивают...

Еще лейтмотив: реакция наших мужиков на новобранцев в юбках. От растерянного отеческого: "Девчоночки мои! Да что же мне с вами делать?" до скабрзного: походно-полевые жены прибыли... Пока фронт - спасительницы. Кончилась война - фронтовое прошлое лучше скрыть, иначе замуж не возьмут. И это встык, в одних и тех же душах: запредельная самоотверженность и рядовая пошлость. Тут, я думаю, один из подступов к загадке Светланы Алексиевич: она не расчленяет души, у нес обе бездны рядом, разом. Кажется, что выдержать то, о чем она рассказывает, должны были какие-то другие, непохожие, необыкновенные, ненормальные люди, но это те же люди, что окружают тебя повседневно. И, соответственно, в обыкновенных людях, тебя окружающих, таится что-то, что в критической ситуации распрямится и ударит непредсказуемо.

"Мы шли умирать за жизнь, еще не зная, что такое жизнь".

Что это должна быть за жизнь, которой они не знали?

Они знали одно: попасть на фронт. Набавляли себе годы, обрезали косы -походить на мальчиков.

Два желания одновременно: косы обрезать и косы сохранить. Истребить в себе все девичье, женское, не отличаться от бойцов. И - сохранить в себе все девичье, женское, чтобы бойцы разглядели в тебе именно женщину. Лейтмотив, срабатывающий почти курьезно в обстановке околофронтной (юбки пошиты из вещмешков, нестроевой вид, два наряда вне очереди), на передовой выводит действие в запредел.

"...Солдаты залегли. Команда: "Вперед! За Родину!" А они лежат. Опять команда, опять лежат. Я сняла шапку чтобы видели, что я девчонка, поднялась... И они все встали и пошли в бой".

Чубчик у нее был? Как у мальчиков? Или все-таки косы?

Через несколько страниц - откликается:

"...На нас пошли немецкие танки, но их остановила артиллерия. Немцы откатились назад, на ничейной земле остался раненый лейтенант, артиллерист Костя Худов. Санитаров, которые пытались вынести его, убило. Поползли две овчарки-санитарки (я их там увидела впервые), по их тоже убило. И тогда я. сняв ушанку стала во весь рост, сначала тихо, а потом все громче запела нашу любимую довоенную песню "Я на подвиг тебя провожала". Умолкло все с обеих сторон - и с нашей, и с немецкой. Подошла к Косте, нагнулась, положила на санки-волокуши и повезла к нашим. Иду, а сама думаю: "Только бы не в спину, пусть лучше в голову стреляют". Но не раздалось ни одного выстрела, пока не дошла до наших..."

Не стреляли немцы. Косы, что ли, разглядели?

В других случаях - стреляли. Как тот, с развороченным животом, в окопе, из последних сил взявший на мушку нашу санитарку

"Я перевязывала раненых, рядом лежал фашист, я думала, он мертвый, и не обратила на него внимания, а он раненый, он хотел меня убить. Я как почувствовала, как кто-то меня подтолкнул, и к нему повернулась. Успела выбить ногой автомат. Я его не убила, но и не перевязала, ушла..."

Так что же это за люди, в душах которых две бездны всматриваются друг в друга? "Знают" эти люди жизнь или "не знают"?

Вот они входят в Германию и испытывают странное любопытство: посмотреть в глаза немкам. (О, мы знаем, что этим не ограничивалось; описано в нашей литературе, как наш солдат, у которого немцы спалили семью, поливал из автомата чистенькие кафельные стены коровника на немецкой ферме.) Но "не знающие жизни" девочки знают: фашисты до того, как стать фашистами, были людьми. Тех солдат, что мылись у колодцев в белорусских селах, проводили же на фронт матери, жены...

"Мы хотели посмотреть на их матерей, жен, детей. Какие у них матери, жены, дети? Что они собой представляют? Хотя мы знали, что это люди, но мы хотели на них посмотреть после всего".

"После всего" остается в опустошенной душе вопрос. К Богу ли, к исторической истине или к самому себе: что же это было? Безумие? Нет, чтобы сойти с ума. нужна пауза. У наших девочек не было времени, чтобы сойти с ума...

"У войны — не женское лицо" - называет свою первую книгу Светлана Алексиевич. Вынести ту войну и не сойти с ума можно было - только веря, что та война последняя. Что больше войн не будет. Что война - вывих, немислимость.

Горькое им предстоит отрезвление. То есть не им, а всем нам, и прежде всего - автору книги.

Но прежде Светлана Алексиевич пропускает "всё это" еще раз - через безгрешные, детские души.

## **"Я УЖЕ ЗНАЮ, ЧТО НЕМЦЫ УБИВАЮТ"**

В первой повести девушки идут на фронт, потому что знают всё. Знают, что погибнут, что покалечат себе тела и души. Знают и видят, хотят знать и видеть. Чтобы выдержать.

Во второй повести возникает... нет, не иная тема, но иная мелодия. А если "тема" - то в музыкальном смысле. Не решаясь комментировать рассказы детей о войне, автор вообще умалчивает - только в самом начале берет слово, чтобы объяснить замысел.

И здесь, в этом коротком вступлении от автора обозначена мелодия - запредельным для логики, чисто камертонным, то есть погребальным ударом колокола:

"...Отца разрывают немецкие овчарки, а он кричит: "Сына уведите... Сына уведите, чтобы не смотрел..."

Это взрослый кричит, погибая, понимая. А ребенок? Если слышит, если видит, - как назовет то, для чего у него нет слов? Они - в разных измерениях...

Война объявлена: взрослые плачут, а дети кричат "Ура!" За окном полыхает: ребенок спрашивает: "Папа, это гроза?" Отец отвечает: "Отойди от окошка, это война", а тот думает: разве война такая? Дети знают слово "война", потому что они "в войну" играли, но они не

знают, что черные точки, отделяющиеся от самолетов, это бомбы. И почему у самолетов рядом с моторами поблескивают огоньки. И почему на дороге, куда падают люди, поднимаются фонтанчики пыли. Они не знают, как назвать внезапно появившиеся танки, и думают, что это катятся по земле самолеты. Увидев стрекозу, девочка кричит: "Самолет!" - и удивляется, что взрослые бросаются в канаву. Святая наивность - единственная защита, роковая беззащитность души.

Светлана Алексиевич ни словом не прерывает исповедей. Тут как бы говорит "сама реальность". Да, по уху, настроенное па определенную тему, ловит в реальности определенные ноты, и так возникает мелодия. Вглухую, вслепую, бессловесно, неосознанно - и оттого страшно.

Девочка находит лимонку и укачивает её как куклу... мать не успевает добежать.

Нет грани между призраками и людьми, между живыми и мертвыми. "Первый убитым, которого я увидела, был маленький мальчик. Он лежал и смотрел вверх, а я его будила". И все искали своих родителей, даже если знали, что родители убиты". <И те, кто знал, что они погибли, всё равно ждали".

Потому что НЕ ХОТЕЛИ знать. Потому что "знать", то есть признать, осознать - принять "всё это" даже как неизбежность. - значит уничтожить в своем сознании самые основы жизни. Роковой момент - когда звуки, пятна и удары вдруг соединяются в узнаваемый образ, и "это" надо назвать.

Вот гребешок в куче пепла на месте дома. "Я узнаю этот гребешок, соседская девочка меня им расчесывала". Так осознала. Вот ведут наших военнопленных, па головах у них не белые и не красные бинты, а черные, "а я уже знала, что кровь красного цвета, и не могла понять: почему бинты черные?" Теперь поняла. "Идешь - лежит черный труп, значит, старый человек сгорел... А увидишь издали что-то маленькое, розовое - значит, маленькая девочка. Они лежат на углях розовые".

Нет. это невозможно связать, это нельзя "назвать". Инстинктивная самозащита души: не пускать в душу "картину", а только - пляс безумных пятен и диких ощущений.

"Когда первый немец ударил меня, я боли не почувствовал, испытал другое... Как ни за что можно ударить человека?"

Чтобы было "ни за что", нужен ребенок.

Немец как раз всё связывает. Немец - или "доктор" в белом халате со шприцем в руке, или гогочущий автоматчик в квадратной каске: "Кто будет плакать, того будем стрелять. Улыбайтесь!" Дети закапывают своих родителей, а немец в лица заглядывает: проверяет, улыбаются они или плачут. Немец в этот мир логику внедряет: как сказал, так и сделает. Но детское сознание выкидывает немца из логики, из смысла, из строя жизни. Потому что относительно немца первое умозаключение такое: "Я уже знал, что немцы убивают". Оно же и последнее.

Светлана Алексиевич увела детей из своей первой повести. Да, у войны -не женское лицо, но женщины, идущие воевать, делают это в полном сознании и убеждении, они - участники, соучастники.

Дети - вне этой цепи. Они - непричастны, они - свидетели.

Тут начинается хождение по мукам самой Светланы Алексиевич. В тот момент, когда выгорожены невинные, встает воспаленно вопрос о виновных.

Где источник зла? Как его определить, обозначить, как назвать? Зло - в людях или оно падает на людей неведомо откуда?

В "Последних свидетелях" названы заведомо невинные. Заведомо виновные остаются там... за фонтанчиками пыли, за кучками золы, за свежим рвом... там, где верзила в квадратной каске заглядывает в детское лицо и велит улыбаться.

Понять душу, то есть логику, то есть адскую смесь души и логики этого карателя заведомо нет сил.

Меж тем, как несколько лет уже, с 1980 года, похожая драма происходит в Афгане, только с переменной ролей, и "армия правопорядка" состоит из советских солдат, в числе которых - дети тех самых детей, что спаслись когда-то в Белоруссии. Теперь они посланы наводить справедливость среди афганцев, которые сопротивляются по-партизански, "не по правилам" и "незаконно".

Несколько лет Светлана Алексиевич не решается вступить на это минное поле, а когда

"Цинковые мальчики" наконец появляются, - заряды рвутся под ногами.

## **"НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ ЧЕЛОВЕКУ БЕЗУМИЕ ЕГО"**

Нарастание безумия - вот внутренний сюжет, от повести к повести.

Лейтмотив "Последних свидетелей" - кукла. Кукла с оторванными руками-ногами. Лежит в пыли. Рядом - убитая девочка с незаплетенными косичками.

Лейтмотив "Цинковых мальчиков" - дети с оторванными руками-ногами. Лежат в пыли.

В госпитале русская девушка дает афганскому мальчику плюшевого мишку - тот улыбается и берет игрушку зубами: у него нет рук.

Жестокость описаний усиливается запредельно.

В первой повести медсестра видит плывущие по Неве бескозырки и плачет, понимая, что выше по течению немцы сбросили в реку наших матросов.

В "Цинковых мальчиках" - разрывается череп; по лицу течет глаз; г/ля попадает в голову, мозги летят, человек бежит, пытаясь их поймать. "Человеческое мясо перетерто с землей".

Было такое в реальности 1941 года? Да. Но назвать это, увидеть, сказать об этом было нельзя. Теперь - можно. Сняты стопоры, нет запретов, фильтров. Физиология уничтожения приближена вплотную к глазам.

В "Последних свидетелях" - когда наши солдаты из жалости делились едой с немецкими пленными, дети наивно удивлялись: почему кормят немцев, они же враги? Интересно, удивлялись ли берлинские дети, когда им в 1945 году наливали суп в солдатских кухнях? Мелькнуло: матери - удивлялись, признательность шла пополам с раскаянием: мы их жгли, а они нас кормят.

В "Цинковых мальчиках": девочка-афганка берет у нашего солдата конфете Сородичи отрубает ей обе руки.

Наши солдаты с танков бросают детям перловую кашу в брикетах - дети убегают, уверенные, что это гранаты.

Наш солдат вряд ли сумел бы взять на руки афганского ребенка, чтобы позировать Вучетичу для памятника - ребенок кусался бы и царапался, думая, что его убивают.

Наши памятники афганцы взрывают и сбрасывают в пропасть. Чтобы и следа от нас не оставалось. Воюют против нас поголовно все. так что тут не скажешь, что у войны - не женское лицо или что дети - последние, то есть невиноватые, против воли втянутые свидетели. То, что у нас было бы немисливо, там - буднично. Лейтенант спасает ребенка, везет его в кишлак, женщины забивают лейтенанта мотыгами. Мы им подарки привозим, начинаем раздавать - тут обстрел, мы бежим прятаться, а дети на крышах пляшут и смеются. Дети в резиновых калошах на босу ногу стоят на ледяном песке. Они не просят, только смотрят. Мы им отдаем сухие пайки. Берут. Когда трогаемся, вслед летят камни: "от благодарного афганского народа".

Возможна ли на этом песке логика?

Мать того безрукого мальчика, что в госпитале играл с плюшевым мишкой, держа сто зубами. - спрашивает нашу девушку, давшую игрушку: "У тебя есть дети? Кто? Мальчик или девочка?"

"Я так и поняла, чего больше в ее словах - ужаса или прощения?"

Светлана Алексиевич хочет понять. И я хочу понять - не ужас той реальности, о которой свидетельствуют её собеседники, - эта реальность для нормального сознания запредельна. Я хочу понять, как трансформируется под воздействием этой реальности сознание. Сознание рассказчиков, которые говорят правду и сами ее боятся. Сознание писательницы, которая мобилизует всё своё мужество, чтобы выдержать. Чтобы объяснить. Чтобы найти логику

"Война матерей". В 1941 году - были матери погибших солдат? Миллионы! Почему та война не была названа "войной матерей"? Потому что матери солдат погибали прежде солдат?

Наши медики в госпитале возвращают к жизни раненую старуху афганку. Придя в себя, старуха собирает последние силы, чтобы плюнуть им в лицо. "Мы её спасли, а она хотела в нас плюнуть... Почему, почему?"

## **ИДЕМ ПО ЦЕПОЧКЕ ПРИЧИН**

"Её привезли из кишлака, через который прошли наши спецназовцы... Никого в живых не осталось, она одна... А если с самого начала, то из этого кишлака стреляли и сбили два наших

вертолета... Обгоревших вертолетчиков вилами докололи... А если до самого конца, до самого... то мы не задумывались: кто первый - кто последний?"

Они не задумывались - задумывается Светлана Алексиевич. Кто последний - она определяет уверенно: дети. Последние (то есть крайние) свидетели. Мальчики... цинковые мальчики. Кто первый? Кто сделал так, что воевать стали даже дети? Кто послал этих мальчиков убивать тех мальчиков?

Известно, кто: позорную, преступную войну развязали пять кремлевских старцев ради каких-то идиотских, мнимых целей. Поспеть раньше американцев... Не дать прорвать фронт мирового соцлагеря... Защитить южный фланг державы... Еще про коммунизм не забыть... За этими химерами смысл не прощупывается: в тех пределах, на которых отсекается в "Цинковых мальчиках" логика (как отрывает взрыв руки-ноги), тут сплошной абсурд.

Я хочу выйти за его пределы.

Я не знаю, может быть, пять кремлевских старцев и пудрили себе мозги американским десантом или интернациональным долгом, - я в этом сомневаюсь, но я не сомневаюсь в том, что под этой идеологической пудрой они чуяли зловещую геополитическую реальность - если не умом, то задрожав! А геополитическая реальность - это другие измерения. Это вакуум и заполнение вакуума, это восстановление равновесия, это упреждающий удар... Человеческой логики тут нет по определению, решает результат: хватило сил - не хватило сил; по результату история и приговор выносит, причем задним числом, без права обжалования: она идет по человеческим костям без всякой справедливости.

Справедливо ли было, что киевский князь Святослав вторгся в Итиль и уничтожил Хазарский каганат? Не более справедливо, чем если бы какой-нибудь последователь Пейсаха дошел бы с аналогичной целью до Киева. Батый как раз и дошел. Интересно, а хватило бы сил у монголов на такое вторжение в XIII веке, если бы в XII веке какой-нибудь последователь Святослава прогулялся бы до Байкала и помешал бы Темучину стать Чингисом?

Любой интернационалист-"афганец" послал бы меня с моей логикой... А тот, кто имеет вкус к истории, - спросил бы: а какая, собственно, разница? Мы все исходим от тех и от этих, то есть от полян-древлян, хазаров-аланов, татаро-монголов и т.д., по истечении веков это мало что меняет.

По истечении веков - да. Но у "цинковых мальчиков" тикают другие часы, и Светлана Алексиевич, распятая на их беде, все эти построения отменяет одной фразой из Бернарда Шоу: "История солжет".

И, придвигая вопрос к самым глазам, к сегодняшней боли, спрашивает вслед за Артуром Кестлером: "Почему, когда мы говорим правду, она звучит как ложь?"

"Почему" - вопрос опять-таки из области логики. "Правда" - из области духа.

Разве не правда, что мы мши в Афганистан с гуманными целями? Мы хотели построить им современные дома. Мы уже завезли им столы для кабинетов, графины для воды, красные скатерти для заседаний, тысячи портретов Маркса, Энгельса и Ленина...

Бандиты не захотели вникнуть?

Нет, отчего же захотели. "В тюрьме... главарь банды... лежит па железной кровати и читает... Ленина. "Государство и революция". "Жаль, - говорит, - не успею... Может, дети мои прочтут..." Что, афганцы не хотят приобщаться к культуре?

Да нет, хотят. Особенно если культура общедоступная. Наши ребята слушают Высоцкого, и душманы слушают Высоцкого.

- Какой он, душман? С бандитской рожей и кинжалом в зубах?

Нет. Красивый молодой человек. Окончил московский Политехнический институт.

Но мы же им землю хотели дать, землю! Мы им МТС собирались строить!

А они землю не берут, ссылаясь на Аллаха, а наши МТС уничтожают.

Как дурной сон: не разгадать... Потомки разберутся. Наши говорят: эта война никогда не кончится, дети будут воевать. И тот бандит, который жалеет, что его расстреляют прежде, чем он Ленина дочитает, говорит, что дети дочитают.

А дети?

Смеются. Мы приходим - смеются, уходим - опять смеются. Мы - "на броне, с оружием, рукава закатаны по локти..."

Рукава по локти - помните, ЧЕЙ это опознавательный знак в первой повести? Так идет в документальной прозе игра лейтмотивов. Повтор контуров при подмене смысла: имя остается -

человек другой. Слова те же, а смысл исчез.

Еще сигнал с войны, у которой не женское лицо:

- Мне одиннадцать лет было... В школу пришла "тетя Снайпер", которая убила семьдесят восемь "дядей фрицев". Вернулся домой, заикался...

Через десять лет этот мальчик собирается в Афганистан. Ему говорят: "Ты или сошел с ума, или хочешь сойти с ума".

"Последние свидетели" НЕ ХОТЕЛИ сходить с ума - их реальность свела. Девушки из первой повести тоже не хотели: им было некогда.

"Цинковые мальчики" - хотят. Хотят сойти с ума. Наркоз отошел; реальность проступила - без логики, без просвета, без смысла. Как наши отцы и деды её выдерживали?

Выдержать такое может человек только под наркозом какой-нибудь великой идеи.

## **"У НАС НЕ БЫЛО ИДЕИ, У НАС БЫЛ ПРИКАЗ"**

Когда начался суд над "Цинковыми мальчиками", и солдатские матери, еще вчера плакавшие вместе со Светланой Алексиевич, теперь кричали, что она нажилась на их исповедях, купила два "Мерседеса" и ездит по заграницам, а судьи, заваленные "письмами протеста", глубокомысленно выясняли, на что имеет право писатель, работающий с документальными записями, и на что права не имеет, - Светлана Алексиевич попыталась объяснить. На крики из зала насчет двух "Мерседесов" она отвечать не стала (наверное, подумала о том, что зависть - в природе человека). А насчет своего писательского права видеть мир таким, как она его видит, объяснилась:

- Я должна доказывать, что документ в искусстве - это не справка из военкомата и не трамвайный билет? Те книги, которые я пишу; - это своего рода проза. Это - документ и в то же время мой образ времени. Я собираю подробности, чувства не только из отдельной человеческой жизни, но и из всего воздуха времени, его пространства, его голосов. Я не выдумываю, не домысливаю, а организовываю материал в самой действительности. Документ - это и те, кто мне рассказывает, документ - это и я как человек со своим мировоззрением, ощущением.

В сущности, она делала это и в первой своей повести, хотя по видимости организовывала материал в тематические разделы.

В "Цинковых мальчиках" материал организован в разделы скорее музыкально-интонационные. Это симфония, трагическая симфония в трех частях ("День первый... день второй... день третий"), где фактура, по видимости абсурдная, хаотическая и неменяемая, прорифмована эмоциональными акцентами, знаками, сигналами, которые должны вывести читателя из преисподней.

Человек воюет, убивает, умирает. И вес время спрашивает: "Зачем все это? Зачем?" Рефрен - вопрос о смысле - свидетельствует, что ответ в принципе есть.

Мальчики, которых потом назовут убийцами, идут на войну - по внутреннему ощущению - как герои. Вопрос "Я не знаю, кто я: герой или дурак?" - не имеет однозначного ответа. Ответ: и то, и другое! То есть перед нами герои, попавшие в дурацкую, подлую, вывернутую ситуацию.

Герои выглядят как дураки. Люди милосердные и добрые выглядят как провокаторы, издевающиеся над своими жертвами. Что, девушка, давшая игрушку искалеченному ребенку, сделала это не от чистого сердца? От чистого. Что, лейтенант, спасший младенца и забитый мотыгами, кого-нибудь обманывал? Хороший человек остается хорошим, добрый человек гибнет, не отступаясь от добра, - но почему доброе гибнет? Почему люди, созданные для подвига и добра, несут с собой зло, глупость и обман? Чем честнее человек, тем страшнее то, что он делает, - что это за жуть?

Ситуация виновата... Но ситуация всех оглушает равно; значит, причина в самой человеческой душе, в том, какова она, в том, ЧТО она несет.

Первыми гибнут именно те, кто несет, кто нацелен на героиню, - отважные мальчики и книжные девочки с наивными голубыми глазами. Те, кто не согласен прозябать, не хочет "существования вместо жизни". Классические носители советского героического духа, исповедники героической русской традиции, наследники горьковского Данко, верящие, что мир можно вывести к свету. Они - главные злодеи. Чем светлей, тем черней.

Где подмена?!

На какое-то мгновение мелькает мысль, почти мимолетная, "противозаконная": а может, дело не в том, кто чего хочет и у кого какие идеи, а в том, что человек **ВООБЩЕ** малонадежен, что такова его ПРИРОДА? "Человека в человеке немного, вот что я понял на войне", - говорит Светлане Алексиевич рядовой, наводчик, и этот мотив откликается в авторском вопросе: в самом деле, сколько в человеке человека? Что, если в нем изначально и непоправимо больше обезьяны?

В такую разгадку автор поверить не может. Во всяком случае, в нору работы над афганской повестью. Ибо Светлана Алексиевич сама - наследница великих традиций русской и советской классики, никогда не мирившейся со зверем в человеке.

Нет, структура души, созданной для подвига и самопожертвования, - правильна и праведна. Неправильно и несправедно то, чем душа заполнена. "Они не герои, они мученики". Они верили, хотели верить, готовы были верить, искали, во что вложить веру.

Вложили не в то. Вера оказалась не та! Вот вывод, к которому приходит автор "Цинковых мальчиков". Мальчики боролись за идею, да идея была ложная. Вместо праведной идеи им подсунули приказ, и тогда всё вывернулось в абсурд: героика - в подлость, добро - в обман, благородство - в издевательство.

Итак, кто виноват?

"Идея-убийца".

С этой точки Светлана Алексиевич разворачивается к новой повести - о тех, кто зачарован самоубийственной, смертельной, ложной идеей.

## **ШЕЛКОВЫЕ ПЛАТЬЯ И ТУФЕЛЬКИ НА КАБЛУКАХ**

Из шестнадцати монологов, составивших повесть "Зачарованные смертью" (в журнальной публикации 1993 года было двенадцать), первый же монолог ставит нас лицом к лицу с идеологом, носителем идеи, законченным порождением ее.

Вот он, предтеча Павлика Морозова, выдавший когда-то продотряд соседу по улице. Ушел из деревни: иначе односельчане убили бы. Всю жизнь отдал - партии; верил в нее, несмотря ни на что: ни на пытки лагерные, ни на то, что "Сталин - необъясним", ни на то, что на месте социалистической идеи построили "социализм, никакого отношения к этой идее не имеющий". Дожил до Мафусаиловых лет, все сверстники - под мраморными плитами, никого, кто был бы понятен и кто понимал бы. Вокруг - другая жизнь; и вот этот восьмидесятилетний герой, чье имя увековечено в энциклопедии, идет, как живой труп. Самоубийство (после диалога со Светланой Алексиевич) - просто приведение состояния тела в соответствие с состоянием духа.

Она его жалеет. Она ищет для него облегчения. Она думает: когда же он ошибся, свихнулся, встал не па ту дорожку? Конечно, в семнадцатом, когда ж еще! Идея подвела: "Не будет богатых и бедных. Все будут одинаковые. Всем будет хорошо". В том смысле, что "наши жены будут носить шелковые платья и туфельки на каблуках". А потому - грабь награбленное! И из этого исторического мгновения, уже тремя четвертями века от нас отделенного, выводится все, вся наша теперешняя боль, вся дурь, нищета, невменяемость!

Разумеется, мгновение историческое было страшное. Я имею в виду разгул семнадцатого и ужасы гражданской войны. Но сколько же можно висеть на этом крюке? Да, все бедные тогда за большевиками пошли. Вернее, большевики пошли впереди них.

Пограбили. Стало легче? Не стало. Что дальше?

Дальше - еще шесть-семь десятков лет работы. Туфельки на каблуках образца 1917 года не объяснят ни пота, ни крови тех десятилетий. Мгновение прошло, жизнь продолжилась.

Что делал описанный в повести грабитель 17-го года всю последующую жизнь? Об этом - мимоходом: "Со стройплощадки не уходил". Сам ничего не нажил, кроме пары рубашек, письменного стола и полки книг. Так не логично ли предположить, что, десятилетия вкалывая на стройплощадках, он куда больше сделал для того, чтобы вся женская половина народа носила шелковые платья, чем сделали (и сделали бы при любых обстоятельствах) те, кто в 1917 году **УЖЕ** имели эти платья? И туфли с каблуками тоже...

А главное: все это теперь уже неважно. Те, кому это было важно, все в могилах, под плитами. И рассказать некому. Видно, надо умирать вовремя.

Вот он бредет по улице, ветхий старик, член партии с 1920 года, и никому не интересно, кого он ограбил в 1917-м, как его пытали в 1937-м, как восстановили (или не восстановили) в партии

и что там о нем написано в энциклопедии. От всего этого только и осталось: петля и записка: "Я - верил, но моя вера теперь уже никому не понятна".

Из-под "веры", из-под "идеи", вернее, из-под "идеи-убийцы" каким-то запредельным чутьем поднимает Светлана Алексиевич драму более глубокую и страшную, чем все идеи, вместе взятые: ушло время - надо уходить. Природа?!

Закон времени действует безотносительно к "социализму" или "капитализму"; "идеи" для него - лишь оттенки.

Выходит, что вся наша теперешняя отчаянная борьба против "идеи социализма" (как и бывшая - против "идеи капитализма") все более походит на самогипноз, потому что под "теми же" знаменами борются совершенно другие силы, по "тем же" законам формируется совершенно другая реальность; она пробивает себе дорогу, тасуя "слова" и мороча людей, в "слова" верящих.

## "НЕ НАДО ВАМ ЛЕНИНА!"

В школе девочка любила читать военные книжки. Даже жалела, что она не мальчик: на войну не возьмут.

Ненормальная? Да нет, нормальная. По той самой норме, что... "мы никогда не жили иначе". Дождалась девочка: началась война. Только какая-то странная. Не как в книжках. В книжках нападали чужие. А тут свои. На одном языке говорят. Знакомые. И - война. В книжках были идеи, за которые хотелось погибнуть. Теперь идей нет, а люди тонут. Непонятно, за что. "Свои" с одной стороны, "свои" с другой. Расстреливают из автоматов не людей, так воробьев: одни по эту сторону, другие - по ту... "Горячая точка" развалившейся империи... Соседка повесилась из-за любви - никто не верит. Как это из-за любви? Вот если бы ее изнасиловали...

Теперь обернем весь этот бред на "идею-убийцу". Кто тут неимущий? Кто хочет, чтобы было всем поровну? Кому не хватало шелковых платьев и туфель на каблуках?

Как остроумно заметил Григорий Померанц. "*В Ольстере колбасы хватают*". Значит, что-то сидит в людях помимо "колбасы", если они взрывают универсамы и аэропорты. Умом все это давно знают, но как объять духом? Тот же Померанц пишет: "*Абхазы с грузинами воюют на кучах неубранных мандаринов*". Как это объяснить девочке, которая бежала из Абхазии в Москву?

Из Москвы в это время рвет в Абхазию ее сверстник - зарабатывать на кооперативную квартиру. Может, он объяснит?

Он и объясняет. Природа! Древний инстинкт! Вчера парень сидел на тракторе, пахал. Завтра он будет стрелять. Попробуй его верни на трактор. В колхоз...

Где "идея"? Какая тут "идея-убийца"?

"Коммунисты сказали: раз вам не нравится слово "коммунист", будем называться демократами".

Звериным чутьем собеседники Светланы Алексиевич чувствуют сквозь слова и идеи уготованную им кровавую долю. С детства чувствуют. С колыбели. С первых книжек.

Книжки виноваты? Интересно, каким же это образом из столь разных книжек извлекается все одно и то же? Девочка из Абхазии читала Шолохова. Мальчик с Сахалина читал Гоголя. Еще одна девочка - Шекспира и Гете, а еще одна - Евтушенко. Вознесенского и Ахмадулину. И все несчастны, и всем подай "идею", а под идеями все то же: "Или меня убьют, или я убью".

Тот наемник, который добровольно поехал убивать, и тот солдат, который хочет с собой покончить, чтобы не убивать, - дети одного времени. Выхода из этого времени нет, оно охватывает, душит, не выпускает: это какая-то фатальная связанность всего и всех, всеобщая смертная круговая порука. Выход - только в небытие... так и тут липнет, вяжет какая-то паутина: командир просит не стреляться, а вешаться: людей легче списать, чем патроны. С/гра-на учета и контроля.

Скрыться! Сжаться, слиться, исчезнуть. "Уйти незамеченным". Лейтмотив! Притворись, исчезни, замри, иначе не выберешься. Никаких следов! Можешь бежать - беги. Не можешь - молчи. "Все пальто одинаковые, все платья одинаковые". Детдом как форма национального спасения.

В 1921 году в детдом попадали из-за гражданской войны, в 1937-м - из-за сталинских чисток. По почему детские дома переполнены сегодня? Почему в "развитом социализме" матери

подбрасывали детей к порогу роддома, а дети бежали от родителей' Что, тоже "ложная идея"? А может, что-то другое?

Та детдомовка, что описана у Светланы Алексиевич, попала в 1937-м. Выжила. Сумела стать человеком ("архитектор. 55 лет" - зафиксирован ее статус после попытки самоубийства). "Платья одинаковые..." - это она. Но - сына вырастила. И сын от нее не сбежал.

Сын вырос и сказал: "Ты - ненормальная. Во мне течет твоя рабская кровь. Лучше б ты умерла".

Интересно: человек. ЗНАЮЩИЙ, что в нем течет "рабская кровь", - еще раб или уже нет?

Это один из потрясающих лейтмотивов в повести: отношения отцов и детей. "Освобождение" детей от "рабства" отцов.

Встретили в парке старика с орденами. Натравили собаку. Избили. Кричали:

- Победитель! Если бы ты не победил, мы бы сейчас баварское пиво пили!

Интересно: баварское пиво входит в тот же набор, что шелковые платья с каблуками, или это уже другой список?

Страшная сцена. Дикая, варварская. И все-таки... монолог старого фронтовика, скрупулезно записанный Светланой Алексиевич, побуждает к тяжелым и неоднозначным раздумьям. Однажды, приехав по бесплатной путевке в санаторий, где в холле не выключают телевизор, посмотрев на "их супермаркеты", высказался так: "Выключите его к... Не был я рабом! Не был! Очернили прошлое, оплевали. Сволочи!.." - И запустил-таки костылем в телевизор.

Интересно: бывший фронтовой хирург ведет себя не как хирург, а как шукшинский деревенский чудик. Но простим это автору. Во-первых, хирург - не гомеопат. И, во-вторых, кто сто знает, с каких низов он выбивался в хирурги. Стиль-то поведения - все тот же. Приставшие к нему молодые негодяи что-то уловили. Не умом, конечно. На уме у них, как я уже сказал, пиво. И на ум им не придет, что от натравливания собак пива не прибавляется, а прибавляется - если работать на пивзаводе или па плантации хмеля. В их разум это не вмещается. Однако, кроме разума, тут работает звериное чутье. И звериным чутьем они ловят в поведении старика все тот же мотив:

"Не надо вам Ленина, а кого вам надо? Взял бы булыжник и бил витрины магазинов с чужими названиями..."

Оружие пролетариата. Что он, что они. Общий язык.

## **К МЕСТУ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПРОПИСКИ?**

Картина мира, возникающая под пером Светланы Алексиевич, высвечивает как бы два уровня. Уровень "идей": тут - нервные срывы, яростная непримиримость, швыряние костылей и булыжников. И - уровень чувств, интуитивных догадок, невольных проговорок, неожиданных признаний. Тут - какое-то загадочное равновесие. Какой-то необъяснимо самонастраивающийся оборот энергии. Какой-то загадочный баланс.

Если люди бегут "отсюда", то в это же время с такою же безумной решимостью встречным курсом такие же люди бегут - "оттуда". Круговой гон: сняться с места и "ехать за правдой". Дома правды нет и быть не может. Ни в родном доме, ни в городе, ни в селе, где вырос. Встать и идти - искать правду. Куда? В столицу, непременно в столицу! В Кремль! А оттуда - в психушку. Там уже ждут, знают. Подъезжает к приемному покою "Скорая помощь", из нее выходит нормальный мужчина, лет за сорок, по виду скорее деревенский, чем городской, с батоном в авоське. К нему подходят санитары. Он бросает авоську и пытается бежать. Ему заламывают руки и волокут к дверям. Он кричит: "Товарищи! Помогите!"

Приехал в столицу за правдой...

Какое же проклятие тяготеет над землей, что человек, едва встав на ноги, бежит с нее? Кто там, на земле, остается? "Аспирант философского факультета, 33 лет", сопровождая "к месту первоначальной прописки" тело своего друга, на мгновение окунается в эту родительскую стихию. Старики, старухи. Дождь, дорогу размыло, машину с гробом тащит трактор. Поп не дает хоронить самоубийцу на кладбище, но подъезжает на газике председатель сельсовета и РАЗРЕШАЕТ. Возвращаются в сумерках. Мокро. Разрушено. Пьяно. Сели за стол. Налили самогона...

"Всплыли в памяти наши разговоры о марксизме как единой планетарной цивилизации..."

А за окном - все та же цивилизация. Пьяно. Разрушено. Мокро. Легче осушить ведро самогона, чем эту хлябь, эту сырую землю, эту мать-сыру землю. Природа! За столетия, за тысячелетия не

поддалась. И не поддастся.

Не то самое страшное для секретаря обкома партии, что из обкома поперли, а вскоре ни обкома, ни партии не стало; самое страшное - когда жена потребовала: "Забирай свою старуху мать! Мне надоело из-под нее горшки таскать! Вези назад в деревню!"

Это - конец. Конец света. Повез. Мокро. Пьяно. "Это он, к кому вся деревня приезжала за справедливостью".

Рок Руси: за правдой, за справедливостью надо ехать в тридешатое государство. В Опоньское царство. В столицу мирового пролетариата. В ООН, СБСЕ. Куда угодно.

Почему нельзя найти правду на своей земле?

Нельзя. То ли потому, что нет понятия СВОЕЙ земли. То ли понятия нет, потому что какой-то главный нерв в душе перебит.

А в столице тридешатого государства наш герой точно так же сидит, как Илья Муромец на печи: не двигаясь.

Свидетельство его матушки:

"После работы с двумя сумками еле добираюсь домой. Вхожу. Оба на диване (муж и сын. - Л.А.): один с газетой, другой с книжкой. В квартире кавардак, черт-те что! Гора немытой посуды! Меня встречают с восторгом! Я - за веник..."

Вера Борисовна Поглазова - мать покончившего с собой ученика восьмого класса Игоря Поглазова - единственная, наверное, героиня Светланы Алексиевич, не просто не возражавшая, но прямо настоявшая на том, чтобы имя ее сына было в повести раскрыто полностью. Она верила, что Игорь - одаренный поэт, и, значит, должен остаться в памяти людей (судя по приведенным строчкам стихов, верила она не без оснований). Но - "кавардак" в доме! Но - полное нежелание взяться за что-либо! Это не бытовая подробность, не утепляющая деталь, это - знак эйфорического отлета от "этой" жизни. Род самогипноза, сомнамбулического "сверхбытия". Маленький был - слушал сказки. Выспрашивал, на каком автобусе можно поехать в тридешатое царство. Увидел в деревне русскую печь - всю ночь ждал, что она "поедет-поедет". Гибрид Ильи Муромца и Емели. Читатель Пушкина. "Кто есть поэт? Какая у него неизбежная судьба в России?.. Умереть". Наверное, стихи бормотал, прилаживая петлю.

Откуда это небожителство? Воспитанное? Врожденное? Идея? Природа?

Три поколения:

"Моя мама (бабушка Игоря - Л.А.) - из тех, у которых блстели слезы на глазах, когда играли "Интернационал"..."

Дочка (мама Игоря. -Л.А..) - из тех, что заучивали стихи Ахмадулиной.

Выросла, стала кричать на свою мать:

- Ты - уродина!.. Таких же уродов, себе подобных, ты и народила! Чему ты нас учила? Отдай! Всю, всю себя - Родине, великой идее! Это ты виновата во всем! Ты!

Дочка думает, что сама она - не "виновата". "Легко бежит по жизни". Просто жить - "неинтересно". Интересно - стихи читать.

Сын - довел до конца.

Сходят поколения, меняются моды и вкусы, чередуются "властители дум", обновляются идеи, но тип отношений и предмет спора вес тот же: дети обвиняют отцов: жизнь - "не та", "не такая". Печка, от которой танцуют и отцы, и дети, все там же. И все продолжают ждать, когда же она "поедет-поедет".

В сущности, Светлана Алексиевич дает в повести панораму советских поколений. Возрасты: от восьмидесятисемилетнего до четырнадцатилетнего. Типы: от "первого секретаря обкома" до "официантки". Края некогда единой Родины: от Минска до Сахалина и от Абхазии до непроходимой российской глубинки. Вроде бы пестро. А лейтмотив - один. "Пришла из школы, легла, а утром не поднялась". Неохота вставать, неохота жить. Это - "официантка", когда была еще маленькая. Выросла. Стала жить - словно "по звездам прыгала". Очередной раз вышла замуж, поняла: "Этот меня убьет ("десантура", "инстинкт охотника"). Лучше я сама себя убью". Дикость, уравновешиваемая кротостью. Кротость, эксплуатируемая дикостью. Баланс.

Какая тут "идея"? Где ее место в этой замирающей и взрывающейся жизни? "Идея" в такой

жизни вообще мало что стоит. Разве что как "инструмент": нечто твердое, последовательное, само себе равное, неизменное, логичное. Хребет в студне. Попытка спасения. Зарок верности в ситуации сплошного самообмана.

## **КРЕМЛЕВСКИЕ МЕЧТАТЕЛИ И ГУЛЯЮЩИЕ КРАСНОАРМЕЙЦЫ**

Я возвращаюсь теперь к первой, титульной, рациональной мысли Светланы Алексиевич - о коммунистах. Об их идейности. О том, какой эксперимент ОНИ поставили над НАМИ. О "мифе социализма", который нас всех заморочил.

Так вот что я на это скажу. ОНИ и МЫ - дети одной ситуации. Никто никого не заморочил. Получили приблизительно то, чего хотели. Конечно, под наркозом, под идеологическим опьянением. Под маской.

Маска составлялась из слов и наращивалась от поколения к поколению. Люди под маской делали не то, что было обозначено на этикетке, а то, что требовалось по обстановке. Иначе бы вообще не выжили.

Тот же самый диалог поколений с точки зрения "анестезиолога" от идеологии выглядит так (цитирую записанный Светланой Алексиевич монолог "заведующего отделом обкома партии. 54 лет"):

- У коммунистов моего поколения оставалось мало общего с Павкой Корчагиным. Я так думаю, что у нас было три поколения коммунистов: первое - профессиональные революционеры, с портфелями и револьверами, эти хотели вывести определенный тип людей, а от остальных избавиться: второе - самые искренние, честные, они выросли после Октября, когда идея еще была молодая, сильная, и они верили в коммунизм, их в тридцать седьмом в лагерях уничтожили: и третье, последнее - это мы. - служащие партии, клерки. Мы просто работали. Это была хорошая работа. Никто об идее никогда не говорил, относились к ней как к обряду...

Насчет "идеи" - очень точно сказано, хотя картину реальности можно уточнять. За семьдесят лет Советской власти сменилось не три поколения, больше: я думаю, пять. Я думаю, что между поколением "революционеров с портфелями" и поколением честных и искренних ровесников Октября, выросших в 20-е годы, было еще поколение ленинского призыва ("парни в ко-соворотках"), и именно эти парни устроили мясорубку 37-го года, где сами же и были искрошены вслед за "революционерами с портфелями". А искреннее и честное поколение ровесников Октября - "лобастые мальчики невиданной Революции" - полегло позже: в Отечественную войну. И было еще одно честное, искренне верившее поколение (мое поколение): дети войны, которым досталось разочароваться в Оттепели и увидеть, как в лоне коммунистической веры возникает поколение "клерков", осознавшее себя уже после войны на чистой идеологической обрядности.

Но это все уточнения. Главное же, в чем собеседник Светланы Алексиевич абсолютно прав: коммунистическая идея (и всякая другая идея тоже) мало что определяет в нашей жизни, ибо жизнь подчиняется глобальным, глубинным, долгодействующим закономерностям, а идея эту жизнь только "оформляет".

Да, на какое-то время идея может сделаться "материальной силой", и тогда она действует в качестве реального фактора, но только в той степени и на то время, пока владеет массами. Вернее, пока массы вгоняют в эту идею свою энергию. Могут вогнать и в другую.

В предреволюционные годы у черносотенной православной идеи были реальные шансы соперничать на народной почве с идеей коммунистической, большевистской. Победила эта. А если бы победила та? Энергия (ТА ЖЕ САМАЯ ЭНЕРГИЯ) вошла бы в другие формы.

И результат был бы тот же?

Глобально - приблизительно тот же. Недаром же обе эти идеи: черносотенная и коммунистическая - так сошлись в наше время. С точки зрения логики - полный абсурд. С точки зрения реальности - железная логика. Нужен хребет в студне.

Идеологи сидят в кабинетах и ищут. А те, для кого они ищут - живут, как умеют.

У Светланы Алексиевич об этом так:

"В Кремле сидят кремлевские мечтатели и о мировой революции думают, а в церкви красноармейцы пьют и гуляют, и их кони мочатся..."

А если бы в Кремле сидели кадеты или трудовики? Что, солдаты в церкви не пили бы, и кони

бы не мочились? И пили бы, и мочились. По законам войны и казармы.

А если бы в Кремле сидели царские сановники? Да они же три века и сидели, и мечтал и о великой Державе, и под флером этих мечтаний (о единой-неделимой, о "проливах", о всеобщем мире и социальном благоденствии подданных) пытались удержать страну. И что же? Удержали?

А семьдесят лет спустя такие же точно "клерки" - уже под наркозом марксизма - пытались удержать. И тоже не удержали. Эти "клерки" ни Маркса, ни Ленина не читали. Листали когда-то в вузах перед зачетами. Они Маркса и Ленина СЕЙЧАС читать начали, когда памятники оказались на свалках. И правильно: вот теперь это действительно идеи. Идея должна сама себя кормить, чистым духом питаться, без подкормок и подпорок. Иначе это уже что-то другое. "Материальная сила".

Идеолог-практик из аппарата обкома у Светланы Алексиевич говорит об этом так:

- Идея прекрасна! Но что вы с человеком сделаете? Человек не изменился со времен Старого Рима...

Подписываюсь под каждым словом этого партаппаратчика. Ход событий вырабатывается не в агиткабинетах.

Так что же, опустить руки? Раз ход истории фатален - можно ли влиять, бороться, воздействовать?

Да только тогда и можно, когда знаешь всему цену. На первый взгляд из суицидных исповедей рождается у Светланы Алексиевич паралич волн, отрешенная готовность ко всему. Но когда вдумываешься - нет! Рождается безграничная готовность к сопротивлению. Если ни у одной идеи в принципе нет возможности овладеть ходом исторического процесса, если разброс потенциалов и альтернатив по ходу событий неотвратим, значит, в выборе путей невозможно не участвовать. Человек обречен на активность.

А если этот человек не изменился со времен Старого Рима (а я думаю, и поглубже), так, значит, и в будущем не изменится, и не надо строить иллюзий, и. стало быть, не только ничего не потеряно, но и терять нечего. А раз так, то и при полном крахе очередной идеи - не рухнем.

Только вот от гипноза такой очередной идеи надо вовремя избавляться. В нашей ситуации - от гипноза идеи социалистической, которая нас "обманула", и мы теперь с ней "боремся". Нечего с ней бороться. Она как была, так и остается - в МЕЧТАХ человечества: в ней столько же иллюзии, сколько и правды. Как во всякой мечте.

Реальная же жизнь пролегает между почвой и мечтой, между правдой и иллюзией. Она, жизнь, зависит от глубинных тектонических процессов в народной толще (сейчас надо уточнить: в национальной). Эти процессы медленны, и "цель" их трудноопределима (Гегель говорил об иронии истории). Если цель поставлена где-то "отдельно", - так в петлю полезешь от бесцельности каждодневного бытия, от "свинцовых мерзостей", от "идиотизма", и прочего безысхода. высвеченного нашей классикой в пору, когда она "прыгала по звездам". Надо попробовать - жить.

"Верхним" рассудком Светлана Алексиевич ищет выхода из ловушки: борется с коммунистической идеей. Не в монологах "Зачарованных", а в собственном монологе (см. "Комсомольскую правду" от 31 августа 1993 г.). На каждый ее довод можно найти контрдовод.

"Сделайте лучше ему человеческую жизнь, а не доводите до собачьего состояния, чтобы потом говорить: смотрите, какой зверюга!"

КТО сделает "ему" лучшую жизнь? Он САМ должен эту жизнь делать. Иначе кто? С Марса, что ли, прилетят?

"Почему со мной так скотски обращаются - муж, государство, продавщица, приемщица в ателье? Почему они на меня орут?"

Потому что "они" и "ты" и "я" - одни и те же люди. Это не "они" на меня орут. Это Я ору. Это МЫ ВСЕ орем. Дело не в "них", дело в нас.

"Ведь когда какую-нибудь дорогу строили, вместо того чтобы подвезти ящик апельсинов, доводили людей до истощения..."

А как "подвезти ящик апельсинов", если дорога не построена? Потому и строили, что бездорожье. Мокро. Разрушено. Пьяно.

Разрешения этой головоломки мы не знаем.

**"МЫ НЕ ЗНАЕМ, КАК ДОБЫТЬ ИЗ ЭТОГО УЖАСА СМЫСЛ "**

Если причина - не война, не внешний враг, не химерическая доктрина, заведшая люден в тупик. - то что же? Почему все разрушено и кем? Кто виноват в том, что с нами происходит? Где источник наших бед?

Бед хватало всегда. Источники похожи. Поэтому Светлана Алексиевич не поехала в Чечню - это был бы для нее просто второй Афган. Она отказалась от мысли написать книгу о жертвах лагерей - это было бы сто второе собрание проклятий по адресу коммунистической доктрины и тоталитарной власти.

Она сразу почувствовала, где беда, которая зашкаливает все прежние объяснения: Чернобыль. Семь лет она ездила по пепелищам, слушала и записывала. И только через семь лет в этом ужасе забрезжил... если не смысл, то лейтмотив.

Может, от невозможности вполне осознать всё это, - именно "Чернобыльская молитва" из всех повестей Алексиевич наиболее совершенна в музыкальном, гармоническом отношении. Как бы в компенсацию бессилию разума понять.

Перед нами реквием в трех частях. С прелюдией и финалом. Заглавия частей передают движение духа по замкнутому треугольнику: "Земля мертвых" - "Венец творения" - "Восхищение печалью". "Восхищение" тут - не в обыденном смысле, а в старинном: "въсхытити" - вознести.

То есть: опустошение мира, в котором жил человек: опустошение самого человека: и - возносимый вверх, в космос, ужас от осознания этой пустоты.

Каждая часть начинается связными монологами, а кончается - нарезками дробящихся голосов: "солдатский хор", "народный хор", "детский хор": триады смысл гаснет в симфониях распада. Единственное, что готово противостоять распаду, - одинокий человеческий голос, и он дважды: в прелюдии и в финале - звучит окаймляя, опоясывая, омывая слезами этот реквием. То есть: только в принятии гибели человеческий дух может встать вровень с бедой, павшей на него непонятно откуда и неведомо за что.

Подзаголовок "Хроника будущего" свидетельствует о понимании того, что перед нами - горькое пророчество.

Краткий, в две с половиной строки, эпилог свидетельствует о том, что из случившейся беды люди так и не извлекают урока.

Но то, что мы, читатели, извлекаем из "Чернобыльской молитвы", - это ощущение небесной, запредельной, космической гармонии, покрывшей земную, бесконечно абсурдную, не поддающуюся никаким объяснениям бессмыслицу. Это - драма духа, возносящего мольбы неведомому Богу и посылающего проклятия неведомому, ни на что не похожему, неопределимому источнику горла и распада.

Единственное, с чем люди могут сравнить "это", - война.

Прежде чем произнесено слово, звучит из подсознания чисто музыкальный аккорд:

"Летят самолеты и летят. Каждый день. Низко-низко над головами. Летят на реактор..."

Эвакуация. Переселение. Штурмуют хаты. Люди позакрывались, попрятались. Скот ревет, дети плачут...

Берем в кольцо деревню, и собаки, как услышат первый выстрел, уже бегут. В лес бегут..."

Белорусский синдром. "Пустые деревни... Одни печи стоят", Шрамы Хатыни...

А вот сигнал из Гулаговских времен:

"За папой пришли ночью. Я не слышал, как он собирался. Я спал. Утром увидел, как мама плачет: "Наш папа в Чернобыле"".

Память хватается за испытанное: за войну, за зону. Но это уже не срабатывает: враг не похож ни на немца-карателя, ни на гепеушника, ни на афганского душмана. Ни на таджикского моджахеда, от зверств которого бежали русские в Чернобыль. Когда памирец, ворвавшийся в роддом, хватается только что родившегося младенца: это кулябец? - и выбрасывает того в окно, - этот дикий эпизод только подтверждает, что "все сошли с ума", и именно беженка из Таджикистана находит самую жесткую формулу "Чернобыльской молитвы": "Я Бога не боюсь... Я человека боюсь" - люди все без исключения поражены странной порчей, независимо от того, хотят они этого или не хотят, хороши они или плохи, добры или злы. Им всем угрожает опасность смертельная, но не похожая ни на танк, ни на бомбу, ни на бандитский нож, ни на петлю, которую накидывает самоубийца.

Пи вида, ни запаха. Не услышать, не потрогать. \*- Что такое радиация? - Мама, это смерть

такая..." Да где она?! А всюду.

"В хлебе, в соли... Дышим радиацией, едим радиацию". "Без цвета и запаха... Как Бог. Бог всюду, а никто не видит". "С Богом биться не будешь". "Богу молятся, у него не спрашивают..." Зависает душа между Богом, который карает отовсюду, и наукой, которая пытается спасти: учит технике безопасности. Техника на грани фантастики: общелкали постель, нашли на одеяле "пятно". И стирали его, и трясли - вес-равно "светится". Вырезали. Закопали. Почву срезали, увезли, тоже закопали. "Схоронили землю в земле". Симфония абсурда.

И опять - знакомые лейтмотивы. "Ученый приехал и выступил в клубе, что дрова надо мыть. Диво! Отсохни мои уши..." За другим ученым, вылезшим из вертолета в респираторе и спецкомбинезоне, бабы погнались с палками: ишь, в спецодежде! А мы здесь что? Приехал корреспондент из газеты - пьяные доярки его чуть не убили. Ненавидим вашу науку! Ненавидим!

Узнаете? Это - как в Афгане: мотыгами - спасителя - насмерть. Как в холерный бунт: докторов - в реку!

Вековой инстинкт нормального здорового существа: найти виновных! Вподхват - еще один знакомый рефлекс из ГУЛАГОВСКОЙ эпохи: "Вредительство!" "Преступники!" "Придется отвечать! Как за тридцать седьмой год!" "Специально устроили!"

Кто же кто? "Ученые или персонал станции? Директор? Дежурные операторы?"

Дежурный оператор за несколько минут до взрыва что-то почувствовал, нажал кнопку аварийного отключения реактора. Кнопка не сработала. Оператора схоронили. Старик отец плачет на его могиле. Люди его стороной обходят: "Твой сын взорвал".

## **"МЫ ДОЛЖНЫ ПОБЕДИТЬ. КОГО?"**

Итак, ищем виноватых.

"Несколько человек... всего несколько человек решало нашу судьбу! Судьбу миллионов людей... Всего несколько человек могли нас убить... Не маньяки и не преступники. Обычные дежурные операторы на атомной станции!"

Мысленно оборачиваясь душой вокруг облученного, обреченного человека. Светлана Алексиевич последовательно испытывает веками опробованные модели его оправдания: виноват не он, а тот, от кого все зависит.

Самая древняя и безотказная модель: виновато начальство. С тем отличием от "дежурных операторов", что те - не преступники, а эти - все-таки преступники. "Преступное правительство". "Пусть старые, пусть мертвые... они - преступники".

Похоже, что это те самые "пять старцев", что устроили афганскую бойню. А может, и те четыре старца, что при Советской власти красовались на портретах и эмблемах, символизируя светлое будущее.

Светлое будущее взорвалось в Чернобыле - значит, это возмездие старцам. Светлана Алексиевич так не говорит. Она такое выслушивает. Выспрашивает. Включает в симфонию. Ибо это ей нужно.

Но ведь факт, причем факт рутинный, что рядовых и генералов кормят в разных столовых. Рядовым - лапша и консервы, генералам - красное вино и фрукты. И это факт: "Своих детей втихую вывезли", втихую "йод принимали". И это факт, что председатель Правительственной комиссии, прибывший в Чернобыль сразу после взрыва, требовал, чтобы его немедленно отвезли к реактору, объясняя свое рвение так: "Мне вечером докладывать па Политбюро".

Доклад на Политбюро, конечно, - прекрасный повод для чернейшего чернобыльского юмора, но. кроме юмора. - ведь и то факт, что кремлевский посланец действительно рвался в самое пекло и хватанул, конечно же, свои рентгены. Он знал, как и чем рискует.

И кремлевские старцы мыслили не абсурдно: они боялись паники. Смешно, конечно, но если бы, вдобавок ко всему, началась бы еще и паника, юмор сразу перешел бы в другую стадию.

"На трибуне - все секретари райкома, рядом с первым секретарем - его дочка, она стоит так, чтобы все видели. Па ней - плащ и шапочка, хотя светит солнце..."

Это что, тоже "заговор невежества и корпоративности"? Шапку-то девочке почему надели? Потому что знают: опасные дозы при светящем солнце сыплются с неба на всех: и все-таки девочка стоит... Ей что, тоже на Политбюро отчитываться?

Факты, фиксируемые Светланой Алексиевич. говорят не столько о вине "преступного

начальства", сколько о его бессилии, и о том, что беда накрыла всех: и верхних и нижних. Беда безгранична, ни на что прежнее не похожа.

"Мы должны победить. Кого? Атом? Физику? Космос?"

Законы природы победить? ЭТО нам противостоит?

Что же "это": то, что не начинается и не кончается нигде, а ощущается -езде?

"Бог?" - осторожно спрашивает человек, за семьдесят лет замордованный атеизмом.

- Бог, Бог! - готовно кричит власть и срочно возвращает византийского орла на место серпа и молота, думая, что она отчиталась перед Небесным Политбюро - очертила себя магическим кругом.

## **"РАЗВЕ ЕСТЬ ЧТО-НИБУДЬ СТРАШНЕЕ ЧЕЛОВЕКА?"**

Этот круг выгорает и распадается под лучами Чернобыля. Высвечивается бессилие власти. То есть наше бессилие. Ибо власть вовсе не от Бога. Она от нас же. Из нас. "Ну, что такое - первый секретарь райкома партии? Обычный человек с институтским дипломом, чаще всего инженера или агронома". Что он может? От паники предостеречь да дочку в шапочке на трибуну выставить? А украсть машину продуктов, присланную в район по линии гуманитарной помощи. -- может? Постесняется?

А местный продавец - не постесняется! Украдет!

Местный продавец из сельмага - он власть или не власть?

На контрапунктах строит свою мелодию Светлана Алексиевич, вроде бы не вмешиваясь в монологи своих героев. Но отчаяние, охватывающее вас, так прочно впаяно в общую мелодию, что ни отвертеться, ни оглохнуть вы не можете: вы хватаете бэры правды, они стронцием оседают в вашей душе, и вы боитесь себе в этом признаться.

Один из лейтмотивов - страх правды, признание самим себе в этом страхе.

Английский корреспондент прорывается к нашим ликвидаторам и задает им запрещенный вопрос - о том, как сказывается радиация на их потенции. Те в один голос: с этим все в порядке. Ни один не признался! Англичанин потрясен - не тем, что власти препятствовали ему узнать правду (это-то он мог понять), но тем, что люди сами не хотят знать правды.

Он идет, такой вот здравомыслящий англичанин, фотографировать могильники, а их "нет". Не потому, что засекречены (это-то попятно), а ПОТОМУ, что разворованы. Все облученное из них растащено: одежда, мебель, сантехника - все пошло на запчасти, по колхозным и частным дворам, на рынок.

На рынок идет мясо из могильников, молоко от облученных коров. Всё по логике перехвата и расхвата: ушлые покупатели не возмущаются, а просто избегают покупать сгущенку определенных молокозаводов: ушлые производители начинают выпускать банки без этикеток. Когда "всего не хватает", это законно, удивляться тут может только англичанин.

Когда атомную станцию строили, тоже всего не хватало: цемента, досок, песка, гвоздей: всё уплывало налево, в близлежащие деревни - за бутылку водки... Нормально!

И когда секретные склады, опечатанные, осургученные. по тревоге открыли, - всё там оказалось негодным, просроченным, халтурным, подмененным. По тому же всеобщему закону, по которому здесь живут все: и низы, проклинающие начальников, и начальники, поднимающиеся из низов.

Разрешается этот лейтмотив в "Чернобыльской молитве" потрясающим эпизодом. Те же иностранцы (англичане? немцы?) приводят колонну машин с гуманитарной помощью... во имя Христа, во имя еще чего-то. А в лужах, в грязи стоят наши соотечественники и кричат: "Нам ничего не надо!"

Почему не надо?

"А все равно разворуют! ,,

Это не начальство стоит в грязи, это не жулье кричит, у которого йод из закрытых аптек и дети увезены, это в кирзовых сапогах, в фуфайках и телогрейках стоит "моё племя" (о, гениальная "оговорка", о "слепое" попадание в словарь эпохи Миклухо-Маклая! - воистину. Светлана Алексеевич слышит и пишет то, что ей "нужно"!), так это стоят те самые крестьяне, невинные, как дети, которых "больше всего жалко". И разворуют всё - они же. И сами знают это. Честно.

Как выломиться из этого замкнутого круга?

"Разве есть что-нибудь страшнее человека?" - спрашивает Светлану Алексиевич беженка из

Душанбе, и обе долго молчат.

А ведь Светлана Алексиевич могла бы ответить в духе нашей либеральной пропаганды: не человек виноват - виновата система. Чернобыль взорвал не только веру в мирный атом - Чернобыль взорвал веру в коммунизм. Веру в науку. В справедливую социальную идею. В многонациональное государство. В могущество великой империи. Мы как бы пробегаем мысленно по прежним повестям, в которых едва брезжило свободное от химер "природное начало" и испытывали себя "Настоящие мужчины", - вот теперь это начало проступает.

Последним из фиговых листков опадает вера в национальную русскую ментальность: в нашу соборность, общинность, коллективную двужильность.

Опадают перья - остается существо, окруженное пустотой, голенькое перед Богом, чистое, неменяемое. Если это существо и можно назвать человеком, то с немедленным свеженьким уточнением: человеческая природа то ли изменилась неузнаваемо, то ли всегда была безнадежна, и только после Чернобыля это стало ясно. Ни на кого не свалишь.

Тупик?

Самый страшный момент в чернобыльском хождении Светланы Алексиевич - момент последнего отчаяния: вот перед нашим взором нечто, сравнявшееся с самой природой: с животными, растениями, почвой, землей, дымом... Единственное, что это "нечто" знает о себе, - это что оно страшно.

И потому оно бежит от самого себя.

Сбывается предсказанное в Священном писании: наступает время изобилия, которым человек не сможет воспользоваться. В реках полно рыбы, в лесах зверя, и - ни людской души вокруг.

Не этого ли и хотелось человеку - избавиться от других? Вот, свершилось: люди бегут от людей. Жизнь остается - без людей. Не дай Бог встретить человека. А когда людей много, это вообще кошмар.

"Продавцы апокалипсиса" прибывают за репортажами с места событий. Ученые осмыслиют "технологическую версию светопреставления". Бабки крестятся и надевают чистое. Смирение перед самоуничтожением - это от ужаса человека при мысли о себе самом. Если винить некого, это действительно крап. Конец. Полное очищение человека от всего, чем он мог бы прикрыться от правды о себе.

Теперь я процитирую надпись Светланы Алексиевич на подаренной мне книге - признание, подобного которому, кажется, не было в ее опубликованных текстах.

"Меня мучает сомнение в человеке".

Но сомнение в человеке возникает только там, где ищут оправдание человеку. Откуда в человеке способность выстоять? Это не объяснить. Не обосновать. Это даже и понять невозможно. Так же, как катастрофа наступает независимо от качеств: социальных, психологических, национальных, государственных и прочих, коими мыслил и прикрывал себя человек, - спасает его что-то не вмещающееся в объяснения, непонятное, немислимое, невозможное, независимое от качеств.

"В Хойниках, в центре города... Доска Почета. Лучшие люди района. Но поехал в зараженную зону и вывез детей из детского сада шофер-пьяница, а не тот, с Доски Почета".

Человек не может не быть спасен - по той же необъяснимой причине, по какой не может спастись. "Человек не может быть счастливым". Но несчастье, которое его губит, его же и преобразует.

В ткани, в ауре, в самом факте появления повестей Светланы Алексиевич - таится фермент надежды. Сам факт ее присутствия в нашей литературе - ответ на всё тот же проклятый вопрос. Это тоже ответ фатальному небытию.

- Ты, Светочка, не записывай то, что я тебе рассказываю, и людям не передавай. Это людям нельзя передавать. А я тебе это рассказываю - просто чтобы мы с тобой вместе поплакали. И чтобы, уходя, ты оглянулась на мою хату не один раз, а два...

Один раз оглянулась на свой горящий город жена Лота. И окаменела.

Второй раз оставлен нам.

*Лев АННИНСКИЙ*